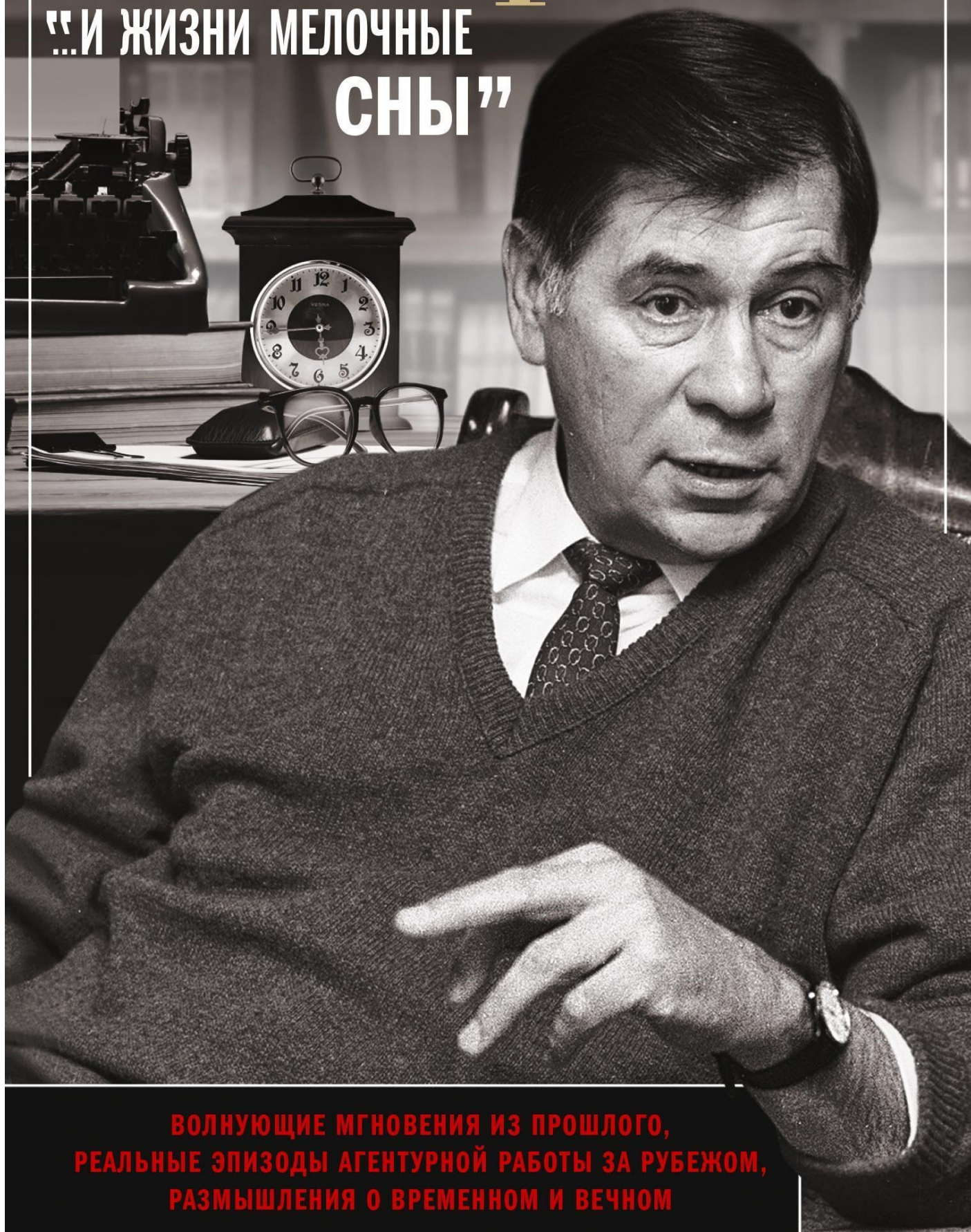


ШЛЕОНИД Шебаршин

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

“...И ЖИЗНИ МЕЛОЧНЫЕ
СНЫ”



**ВОЛНУЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО,
РЕАЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ,
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕННОМ И ВЕЧНОМ**

Леонид Шебаршин

**«...И жизни мелочные сны».
Волнующие мгновения
из прошлого, реальные
эпизоды агентурной работы
за рубежом, размышления
о временном и вечном**

«Центрполиграф»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

Шебаршин Л. В.

«...И жизни мелочные сны». Волнующие мгновения из прошлого, реальные эпизоды агентурной работы за рубежом, размышления о временном и вечном / Л. В. Шебаршин — «Центрполиграф», 2026

ISBN 978-5-227-11336-8

Прежде чем стать начальником Первого главного управления КГБ СССР, Леонид Владимирович Шебаршин прошел долгий путь от младшего лейтенанта до генерал-лейтенанта. Книга «...И жизни мелочные сны» автобиографична, и в лице старого Генерала — главного героя, не имеющего имени, — мы узнаем самого автора, который позволяет нам заглянуть во внутренний мир профессионального советского разведчика. Волнующие мгновенья из прошедшей жизни, реальные эпизоды агентурной работы за рубежом, переживания ветерана, волей судьбы расставшегося со службой, размышления о временном и вечном, печаль об ушедших временах и людях и придающая особый, еще не осознанный смысл нынешнему существованию Старика лохматая Ксю-Ша — мистическая гостья из прошлого, связывающая единой нитью кусочки былого и нынешнего, — ждут читателя на страницах книги. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-227-11336-8

© Шебаршин Л. В., 2026

© Центрполиграф, 2026

Содержание

Генералу не спалось...	7
Октябрь уж наступил...	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Леонид Владимирович Шебаршин
«...И жизни мелочные сны»
Волнующие мгновения из
прошлого, реальные эпизоды
агентурной работы за рубежом,
размышления о временном и вечном

© Шебаршин Л.А., 2026

© «Центрполиграф», 2026

Генералу не спалось...

Генералу не спалось. Переехал он сюда, в дачный домик, именно для того, чтобы отдыхать от городского шума, дышать терпким осенним воздухом, глядеть по утрам, если будет погода, на солнце, поднимающееся из-за леса. С погодой не везло. Который уже день шел, без просвета и без передышки, унылый холодный дождь. Прямо от крыльца до забора простиралась лаунданум лужа, уходившая другим краем к дороге. Лужу пересекала редкая цепочка кирпичей да длиннющая толстая доска. В темноте не было видно ни лужи, ни кирпичей, ни доски, ни забора, да Генерал и не собирался выглядывать в окно. Просто этот кусок огороженного ландшафта стоял перед глазами и напоминал, что завтра вот так же будет дождь и вместо неба над домом зависнет серая хмарь, лужа станет еще шире, а доска поплывет и развернется у берега, как брошенный плот.

Струйки воды, срывающиеся с крыши, постукивали по подоконнику, в темноте что-то постанывало, тихонько-тихонько и жалобно. То ли домовый никак не мог найти себе места и жаловался на жизнь, то ли ветер забивался в щель между досками, то ли поскуливал у двери приبلудный щенок. В пустом поселке попадались такие бедолаги – тощие, вечно голодные и пугливые. Еще под вечер, в сумерках, Генералу показалось, что из-за куста у дороги появилась робкая маленькая тень, двинулась было к дому, но, когда он легонько свистнул и похлопал себя по колену – к ноге, мол! – тень исчезла.

И вот теперь что-то постанывало, поскуливало, подвывало в сырой непроглядной тьме.

Сон не шел, и не было ни одной мысли, перед глазами стояла лужа, цепочка покрытых водой кирпичей и грязная доска. Генерал поневоле прислушивался к темноте, к скулящей тихонькой жалобе, к жестяному постукиванию капель. Слышалось еще какое-то царапанье.

«Пожалуй, мыши... Хотя что им здесь, в необжитом доме, делать?» – подумал Генерал да с тем и заснул.

К утру заглодало. Над лесом, над дорогой, над крышами поселка неслись низкие, свинцово-черные, с четко очерченными краями облака, то здесь, то там между облаками вспыхивал синий просвет и быстро задерживался.

Генерал проснулся с ощущением неясного беспокойства, полежал несколько минут, попытался сосредоточиться, понять, в чем дело, но ничего не получилось. Мелькало в мыслях что-то неопределенное, разорванное – воспоминание о виденном сне. Надо было вставать, умываться, растапливать печку, готовить завтрак.

Сухие щепки в печке вспыхнули разом. Генерал закрыл дверцу, и печка радостно и ровно загудела. Сделал ее печник неважно: дрова горят быстро, а тепла не дождешься, лишь часа через два начнут прогреваться изразцовые бока. На газовой плитке засвистел чайник. Все лето, пока домик достраивался, кипятили его на костерке у забора. Чайник прокоптился и не поддавался ни песку, ни особому чистящему порошку, так и остался в черных полосах по белому алюминию.

Генерал заваривал крепкий чай и пил его помногу. Привык к этой травке в далекой стране, где круглый год светило жаркое солнце и люди ходили полуголыми. Хороший чай в Москве редкость, в ярких упаковках продают мусор, то, что сметается с пола чайных фабрик. Этот мусор подкрашивают, он заваривается красно-черным цветом, но нет в нем ни терпкости, ни аромата. Старик, слегка поколебавшись, достал из дальнего угла кухонной полки жестяную пеструю баночку с настоящим дарджилинским чаем: заваривается медленно, листочки разворачиваются в кипятке и горячая жидкость в стакане светится благородным темным янтарем. Такой чай чуть-чуть обволакивает язык, проясняет голову и бодрит тело.

Дождь кончился еще ночью. Размахивали на ветру голыми ветвями березы, срывались с них последние случайно задержавшиеся листочки. «Вались, вались, поблекший лист!» – про-

декламировал Генерал из Баратынского, с удовольствием вдохнул резкий, холодный воздух и подумал, что он пахнет снегом. Предчувствие снега напомнило о небольшом городке в предгорьях Кашмира. Там после сырого порывистого ветра наступало затишье, сыпал крупными хлопьями снег, надевал пушистые белые шапки на высоченные сосны, гнул в дугу молодые деревца. Тогда легко дышалось, радостно было смотреть на ослепительную белизну и проглядывающую сквозь нее густую зелень, знать, что вот-вот вновь выглянет солнце и все вокруг засияет сказочным недолговечным блеском. Жизнь тогда удавалась, казалось, что она еще впереди, что так и будет всегда сверкать ослепительная белизна, сиять на темно-лиловом небе солнце и воздух будет пахнуть снегом.

Вспоминать было приятно. Генерал немного постоял на крыльце, подышал. Лужа за ночь увеличилась. Надо было надевать высокие резиновые сапоги, брать лопату и прокапывать канавку. Не то чтобы лужа мешала каким-то хозяйственным работам, просто она мозолила глаза своей никчемностью и неуместностью. Минут через десять мутная вода побежала по неширокому руслу, размывая и унося с собой комочки глины.

День начинался неторопливо, необременительными трудами: сначала канавка, потом ямы под вишни. Саженцы с укутанными мешковиной корнями лежали у забора.

Утреннее смутное беспокойство прошло. Генерал чувствовал себя бодро, впервые за много дней не щемило сердце и не наваливалась одышка. Немного раздражала глина, тяжеленным комом налипавшая на лопату, обволакивавшая сапоги. Эта серая глина, мутная вода царапнули вдруг Старика совсем другим, печальным воспоминанием: далекая осень, Хованское кладбище. Хоронят Кима Мартынова. Живые идут по липкой грязи, перепрыгивают через лужи. Промокший почетный караул в заляпанных сапогах и оплывающая глиной, залитая осенней водой яма. В яму опустили деревянный, обитый красным ящик с Кимом, так и не успевшим состариться. Хороший был человек, добрый, веселый и умный.

Генерал подумал, что нечаянное воспоминание о старом приятеле надо было бы как-то отметить. Он годами не вспоминал его – и вот на тебе, осень, мокрая глина под ногами, опущенный в яму с мутной водой Ким. На Хованском глина красная, а у нас здесь серая, машинально отметил про себя Старик. Подумалось: не перекреститься ли? Генерал не то что совсем не верил в Бога, у него тут ясности не было, а просто не привык креститься. Сейчас в молчаливом обществе голых обмокших берез, которые уж никак не могли заподозрить его в притворстве, он воткнул лопату в землю, повесил на лопатошник кепку и неловко перекрестился, шепотом помянув покойника.

Настроение упало. Тронутая давнишним прострелом поясница начинала побаливать. Генерал долго мыл сапоги в глубокой придорожной канаве, ворчал на строителей, которые наобещали сорок коробов, да так и не положили дренажную трубу. Ворчалось не всерьез, по привычке. Бывало, задевала каждая мелочь, мешали жить пустяки, все нужно было сделать, доделать, переделать немедленно, сейчас же. Было, да прошло. Можно спешить, бежать, нервничать, требовать, добиваться, ругаться, взывать к совести, гнать себя и других. Можно просто положиться на течение вещей, зная, что что-то будет сделано, что-то не будет, что все это никак не нарушит равновесия жизни и в конечном счете все так или иначе образуется. Старика довелось пожить среди мусульман, и заимствованные у них семена фатализма давали всходы через много лет. Пожалуй, не так уж велика разница между скудной, залитой осенней водой землей Подмоскovie и каменистой, иссушенной почвой азиатских пустынь. Там хотя бы дорогих покойников в ямы не бросают. «Тьфу, черт! Вот мысль дурацкая», – выругался про себя Генерал и пошел обедать.

За чугунной дверцей печки еще тлели угольки, брошенный на них пучок тонкой сосновой стружки ожил, зашевелился, пошел дымком и вспыхнул веселым пламенем. Огонь схватил пучок сухих щепок, на щепки улеглись березовые полешки, и печь вновь захлебнулась в радостном гуле.

К Генералу вернулось утраченное было ровное настроение. Он не спеша, но быстро приготовил нехитрый обед – макароны и похожая на мясо розовая субстанция из банки иностранного происхождения. Кое-что осталось и на ужин.

Путешествуя в свое время по миру, Генерал едал вкусную, дорогую, приготовленную отменными поварами еду; с удовольствием резал острейшим ножом сочный бифштекс; брал прямо руками с блюда пряный индийский бириани¹; наслаждался кабульским шашлыком; большой ложкой накладывал свежую осетровую икру на горячую хрустящую иранскую лепешку – нан. Все это нравилось, приятно возбуждали чинная обстановка, ловкая и бесшумная прислуга ресторанов. Равнодушно глотая макароны, Старик не испытывал тоски по прежним радостям. Все это «снега былых времен», подсовывала ему память строчку Вийона. Но где снега былых времен? Где снега Кашмира, Гиндукуша, Сибири?

Мысль о снеге вернулась не случайно. За окном потемнело, по стеклу застучали ледяные крупинки, испуганной стайкой метнулись над забором ржавые листочки.

Генерал прихлебывал крепкий чай из фаянсовой кружки с выщербленным краем, поглядывал в окно на темнеющий лес, на дорогу, по которой за день не прошла ни единая живая душа. До вечера было далеко, выходить из дома в холодную мокреть не хотелось, браться за книги или за бумагу тоже было рано. Читалось и писалось лучше всего тогда, когда от простой работы уставало тело.

На веранде лежали доски, оставленные плотниками. Недоделок по дому было много, плотники обещали все поправить к зиме. К доскам Старик привык. Смотрел и на них, и на изредка появляющихся плотников без интереса. Придет время, доски станут на свои места, плотники будут морочить голову другому простоватому заказчику. Ребята они веселые, славные, и все их хитрости – немудреные уловки русского мастерового. Все образуется. Насмешливо и печально подмигивал со стены лист бумаги с выведенным персидской вязью изречением: «Ин низ мигузарад» («И это пройдет!»).

Досок хватит на все, и Генерал давно задумал смастерить себе книжную полку. На самодельном шатком верстаке, в чугунных старинных тисках зажат обрезок доски, рубанок ходит по шероховатой, с полукруглыми ссадинами поверхности. Пахнет свежееобструганной сосной, стародавней жизнью, когда «рубили деды сруб горячий» и пели о своем Христе. Генерал с сожалением отложил рубанок, освободил гладкую доску из зажима, поднял ее на свет, полюбовался матовым неярким сиянием дерева и позавидовал плотникам, их древнему, как русский лесной человек, уменью.

Природа обделила Генерала. У него не было ни твердой руки, ни безошибочного глаза, столь необходимых и плотнику, и художнику. Сколько ни вымерял он блестящей стальной линейкой оструганные доски, сколько ни выверял угольником прямизну срезов, а полка все же сколачивалась чуточку косообоко и требовала лишних, при правильной подгонке ненужных, гвоздей. Прежде, давно, в лета своей молодости, Старик жалел, что не умеет рисовать и сочинять стихи, лишен голоса и слуха – в общем, всего того, что придает артистичность человеческой натуре. Было даже какое-то чувство неполноценности, возникавшее от упрямого желания быть ни в чем не хуже других, от зависти. Бывало, Генерал любил рассказывать в компаниях, где пели, что однажды, когда он учился еще во втором классе и увлекся звуком собственного голоса на уроке пения, учительница сказала ему: «Перестань петь, ты весь хор портишь!» После этого он никогда на людях и не поет. Незатейливый этот рассказ почему-то неизменно вызывал сочувственный смех, особенно у женщин. Компании были молоды, и женщины обольстительны, одухотворены весельем, молодостью, радостью жизни.

Не умел Генерал петь, не играл ни на одном музыкальном инструменте, даже таком простом, как гитара, но любил слушать музыку старых мастеров, воображал иногда, что над тихим

¹ Бириани – блюдо из риса, мяса и специй.

лесом, когда деревья еще только-только тронуты осенью, над этим начинающим отливать золотом и медью лесом звучат трубы органа и поет неземное глубокое контральто.

Много лет тому назад, вечность тому назад, в другом – яростном и ярком – мире, населенном неумными, энергичными людьми, Генерал оказался на берегу небольшого озера. Острыми зубцами врезались в предрассветное небо невысокие скалы, поросшие у подножия колючим кустарником, мирно перекликались утки за каменной грядой, отражались в неподвижной воде розовеющие редкие облачка – пух с ангельских крыльев, лепестки отцветающего в раю миндаля. И вот в этой непробудной блаженной тишине слышал Генерал, тогда еще очень молодой и очень энергичный лейтенант, чистое соло серебряной трубы – торжественное, возвышенное, печальное. Слышал голос иных, светлых миров, музыку сфер. Серебряная труба пела тонко и отчетливо, в ее мелодию должно было вплестись небесное контральто. Как дух Лауры...

Резкий автомобильный гудок – та-та-тааа, два коротких, один длинный, приглушенный расстоянием, оборвал мелодию, труба умолкла, чтобы никогда-никогда не зазвучать вновь. Лейтенант вскочил с камня, быстро, почти бегом по узкой тропинке обогнул скалу и через расщелину выскочил на дорогу к запыленной синей машине. Он перемолвился несколькими словами с сидящим за рулем человеком, передал ему толстый конверт, принял от него какой-то завернутый в грубую ткань сверток. Все прошло без малейшей заминки, машина продолжила свой путь, лейтенант вернулся на берег озерца, посидел на камне, спрятав сверток в дорожную сумку с рыболовным припасом.

Он еще несколько раз приезжал на это же место, стараясь попасть сюда в предрассветные часы. Стояла та же тишина, вдали покрякивали утки, так же отражались в воде розовеющие небеса... Мгновенье не повторилось.

Генерал не очень любил вспоминать свою прошлую работу, иронически называл себя «героем никчемных горизонтов», но прошлое отказывалось уходить и умирать: каждый день, каждый час оно тревожило стареющее сердце, вторгалось в мирные обыденные размышления, чужим небом отражалось в надоевшей луже, звучало в тишине отзвуком серебряной трубы.

Вот наконец забит последний гвоздь, и новая полка прилаживается над самодельным письменным столом. Прильнуло дерево к дереву, доска к доске, стукнул молоток, и полка заняла место, которое будет принадлежать ей до скончания времен. Зимой по подмосковным поселкам шарят вору. Они вламываются в пустые дома, берут все, что можно взять, сорвать, отвинтить: тарелки, абажуры, холодильники, одеяла, сапоги, консервы, столы, стулья. Но даже эти шакалы едва ли польстятся на самодельную, сколоченную из досок полку.

К вечеру изразцовые бока печки раскалились, дышали уютом, звали отдохнуть, взять книгу и неспешно почитать. Начиная с семилетнего возраста Генерал безудержно и жадно читал, брал книги в библиотеках, занимал у приятелей, покупал, поглощал сотни, тысячи страниц на русском и английском языках, читал на фарси, урду и французском. Позже, когда энтузиазм ослаб, он шутил: «Я знаю пять языков, но мне нечего сказать ни на одном из них». В шутке, как всегда, была доля правды. Книги учили, развлекали, сердили, погружали в раздумье, но во всем их разноязыком множестве не было внятного слова о главном – о смысле жизни. Только гении, подобные Екклесиасту, Пушкину и Толстому, приближались к этому главному, но и они то ли не могли, то ли боялись сказать, зачем живет человек. От книг остались в памяти обрывки чужих мыслей, цитаты без принадлежности, недоверие к ученой мудрости, осознание ограниченности любого знания и необъятности непознанного.

Несколько десятков книг перебрались из города в еще недостроенный дом, прижились здесь, привычно и спокойно смотрели с полок. Будет жаль, если вору утащат или, того хуже, надругаются над ними, но дом без книги был бы совершенно уныл и пуст, приходилось брать сюда, в лес, не самое дорогое.

У книг своя судьба, и редкая заканчивает свою жизнь на той полке, куда ее впервые поставила рука хозяина – новенькую, в свежем переплете, пахнущую бумагой, типографской краской и клейстером. Старые книги рассказывали о прежней жизни, о своих авторах и редко-редко – карандашной пометкой на полях, знаком вопроса или восклицанием, чертой или галочкой – напоминали о бывших читателях. Книги, как и люди, переживали войны и революции, подвергались гонениям и репрессиям, покидали родные края, пропадали без вести на чужбине или же, попав каким-то чудом в руки соотечественника, через десятки лет возвращались домой. Вот томик сочинений Фенелона, архиепископа Камбрейского, изданный в Москве в те годы, когда молодой Пушкин начинал приобретать всероссийскую славу. Какие ветры занесли ее в Тегеран, в армянскую семью, где она и была преподнесена Генералу? Какими путями попала в Кейптаун потрепанная книжечка Блока? Искали счастья на чужбине их первые читатели либо бежали от гибели? На старинном «Путешествии по Китаю и Тибету» фиолетовый штамп ученической библиотеки Трехгорной мануфактуры, детским неуклюжим почерком на внутренней стороне обложки накарябано: «Сія книга принадлежит тому, кто ее купил за 45 копеекъ». Писал какой-то любознательный озорник, не думая, что надпись эта останется единственным осязаемым следом его пребывания на земле. Чернила и бумага долговечнее человека и памяти о нем.

Генерал рассеянно взглянул на разномастную книжную рать, выстроившуюся рядками, и по привычке подтрунивать над собой, над жизнью мысленно процитировал Васисуалия Лоханкина: «Рядом с этой сокровищницей мысли...» Вспомнилось заодно, что покойный имам Хомейни, человек, наделенный природным чувством юмора, сравнивал иранских интеллигентов с ослами, навьюченными книгами.

Читать расхотелось. Манил гладко обструганный дощатый стол, стопа чистой бумаги, казенного образца папка со шнурками, хранившая несколько десятков, а может быть уже и сотню, исписанных страниц, лампа с дешевым пластмассовым абажуром в форме кокетливого в горошек платочка, толстая зеленая ручка «Шеффер», ставшая за долгие годы верной службы чем-то вроде талисмана.

Старая работа, где успех зависел от многих случайностей, располагала к легкому, несерьезному суеверию – пристрастию или отвращению к определенным цифрам или дням недели, привязанности к какой-нибудь потертой рубашке, которую надо было надевать перед особо сложными делами, к старым часам или ручке. Возможно, эта склонность шла от студенческих времен, от экзаменов, где случайная удача значила не меньше, чем знания и сообразительность.

Надо было подбросить дров в печку, поставить чайник, достать новую пачку сигарет, вообще изготавиться к нескольким часам непрерывной работы. За окном угадывалась сплошная чернота, лишь где-то далеко светил огонек, расплывавшийся радужным пятнышком на запотевшем стекле.

Свою «писанину», как называл Генерал это занятие, он затеял давно, оказавшись в стороне сначала от служебных, а затем и всяких других, кроме домашних, дел: ежемесячных походов за пенсией, копания на грядках и попыток смастерить своими руками что-то полезное для хозяйства. Былые приятели и знакомцы, такие же отставные служивые, звонили изредка, в зимние месяцы, интересовались здоровьем, сговаривались при случае встретиться, бодрились и шутили. Повидаться, поговорить действительно хотелось, но звонки становились все реже, приятели либо умирали, и тогда надо было ехать в «Шестигранник» – традиционное место прощания с ушедшими при госпитале на Пехотной – и там встречаться с оставшимися, либо неприметно исчезали из жизни. У появлявшихся изредка новых знакомых проглядывался часто интерес к Службе, где раньше работал Генерал. Архивы Службы, предназначенные для хранения в вечной тайне, начали разворовываться и распродаваться еще в начале 90-х годов, после события, которое долго именовалось «августовским путчем», а затем многократно переименовывалось по прихоти людей, мелькавших на вершинах власти. Секреты Службы тем не менее продолжали интересовать публику. Комментарии современника, очевидца и тем более

возможного участника описываемых в краденых документах событий придавали газетным статьям особый привкус достоверности. Но шло время, Генерала забывали, и новые знакомства сходили на нет. Изредка раздавался телефонный звонок, забытый голос напоминал о себе, извинялся за то, что так долго не давал о себе знать, плел какую-нибудь малозначащую чепуху, а потом спрашивал, не мог ли Генерал припомнить вот такое-то событие, правда ли, что некто Н. был агентом его Службы и тому подобное. Старик притворялся растроганным тем, что старший друг вспомнил о нем, говорил любезности и, ссылаясь на слабеющую память, от ответов уходил. Частенько, положив трубку, он с горечью думал: «И до этого добрались, и это продали...» Думать о волнах всеобщего, тотального, какого-то ликующего предательства, которые поднялись одновременно с перестройкой и до сих пор бушевали по стране, калеча человеческие судьбы, размывая все то, на чем стоит общество, было невыносимо тяжело. Но и это перегорело. С соседями по поселку приходилось общаться довольно часто. Они тоже жили в своем прошлом, были немногословны, и разговор обычно сводился к двум-трем фразам.

Так и оказался Генерал на острове, населенном небольшим числом родственников и бесчисленным множеством, сонмом теней, никогда его не покидавших. Тени жили, разговаривали, смеялись, плакали, жаловались, докладывали, просили совета, получали указания, появлялись в памяти неожиданно и так же внезапно исчезали, чтобы появиться когда-то вновь. Тени никогда не умирали. Вернее, они жили до тех пор, пока был жив Генерал, и не имело значения, что там, за пределами острова, они уже не существовали.

Мир теней удивительным образом становился все объемнее, ярче, многообразнее, и Старик с удовольствием погружался в него. Злоба и зависть там не жалили, а радость по-прежнему заставляла чаще биться сердце, своя и чужая глупость не казалась столь обидной, неудачи печалили, но не повергали в уныние.

К правде, к тому, что было, примешивалось то, что могло или должно было бы быть, связывались порванные нити, развивалось оборвавшееся действие, уходили от недоброй судьбы люди. В конечном же счете все возвращалось к одному и тому же: к острову в океане темноты, где мокли невидимые голые березы, стучали по крыше ледяные крупинки, горела над столом лампа в платочке горошком.

Мысль о том, что теням надо дать хотя бы такую едва осязаемую плоть, как след карандаша на бумаге, оставить память о них вместе со своей памятью внукам, правнукам и, бог даст, их потомкам, эта мысль посетила Генерала еще тогда, когда жизнь была на подъеме, когда он уверенно распоряжался чужими судьбами и делами. В короткие промежутки он что-то записывал на листках, складывал в своем беспорядочном личном архиве – вырезки из газет, выдранные из журналов страницы, письма, фотографии, брошюры накапливались в стенном шкафу просторного кабинета. Примерно раз в год делалась попытка выкинуть ненужное и привести в порядок полезное, то, что могло еще когда-то пригодиться, бумаги раскладывались в аккуратные стопки, но вскоре в шкафу воцарялся прежний беспорядок. Расставаясь с кабинетом, Генерал захватил только записи, а остальное безжалостно выбросил, попросил дежурных сжечь, понимая, что в будущем весь этот бумажный хлам, осколки чужой учености ему уже не потребуются.

Поначалу писалось тяжело. Слова не выстраивались во фразы, мысли суетились и спорили, мешали обыденные мелкие заботы, досада на судьбу, на людей, надежды на какое-то будущее. Но все это уходило, успокаивалось, оживали тени, втягивая Генерала в свою, такую дорогую и знакомую ему жизнь.

Трудно было найти подходящий замыслу тон. Он сам рассмеялся, когда начал записки серьезной и размеренной фразой: «Родился я в городе Москва такого-то числа такого-то месяца...» Сразу же получалось нечто подобное автобиографии, что прикладывалась к анкете при каждой смене места работы, при выезде за границу и подшивалась к личному делу, незримо сопровождавшему советского человека с юного комсомольского возраста до гробовой

доски. В некоторых учреждениях, самонадеянно полагавших, что они распоряжаются вечностью, на серых обложках личных дел ставился чернильный штамп: «Хранить вечно». Именно в таком учреждении и работал давным-давно Старик. Учреждение владело не только жизнью и смертью своих сотрудников, но и их потусторонним существованием.

В жизни ему приходилось писать много. Изъял вложенное из тайника («обработал тайник») – надо писать отчет; встретился с агентом («...провел личную встречу по постоянным условиям связи с Х. или У.») – непременно подробный отчет по установленной форме; попал под наружное наблюдение и сошел с маршрута – подробное описание обстоятельств, анализ и выводы; принес со встречи документальный материал – представь резиденту его перевод или изложение и так далее. Каждый шаг запечатлевается на бумаге, фамилии, названия объектов и мест, даты кодируются, бумага получает номер и гриф секретности, докладывается начальству, подшивается в объемистое дело и в конце концов успокаивается в хранилище до тех пор, пока до нее не доберется какой-нибудь будущий оперативный работник или архивный вор.

Стиль этих бумаг складывался десятилетиями: никакой развязности и даже излишней живости, ограниченный набор слов, правильная сухая грамматика, строгая логичность, столь несвойственная настоящей работе да и жизни вообще. Многие так и не постигали этот военноканцелярский стиль, вызывали недовольное ворчание начальников, упреки в небрежности, в нечеткости оперативного мышления. С продвижением по служебной лестнице, то есть от живой оперативной к административной работе, самому приходилось писать меньше, но надо было чаще подписывать чужие бумаги, приводить их в порядок, убирать ненужные слова, вгонять мысль в колодки общепринятой манеры.

Люди, которым адресовались эти бумаги, сидели так высоко, что едва ли стали бы обращать внимание на все эти мелочи. Но документы внимательнейшим образом изучались целым легионом их помощников, секретарей, референтов, способных разбираться в грамматике, стиле и оттенках мысли, самих недурно владевших пером и придирчиво вылавливавших чужие огрехи. Бумаги писались лаконично. Получи Служба Генерала достоверные данные о приближающемся конце света, она и их изложила бы не более чем на трех страницах. Это правило – не более трех страниц – ввел еще Андропов, хорошо знавший умственные способности высших сфер.

Эта манера вряд ли подходила для личных, даже интимных записок, которые не предназначались для постороннего глаза, а должны были попасть к потомкам Генерала лишь после его кончины; их было бы неинтересно не только читать, но и писать, а главное, не удалось бы придать теньям даже подобие плоти.

Было и еще одно обстоятельство, весьма серьезное: неспешное, подробное, с отступлениями описание происшествий, дел, людей, мыслей позволяло заполнять пустоту существования, придавало ему необыденный смысл. Можно было надеяться, что эта неторопливая, приятная и временами волнующая работа так и протянется до последнего неминуемого дня.

Записки, как уже было сказано, предназначались потомкам. Генералу в его молодые годы собственные предки были неинтересны. Он хорошо помнил умершего молодым отца, его мать – свою бабушку, другая бабушка умерла, когда ему самому было уже под сорок. Мать жила долго. Он их помнил, но как-то, задумавшись, понял, что знал о них очень мало, что у него нет ни строчки, написанной рукой отца или дедов, что не осталось от них ничего, кроме нескольких старых фотографий. Они жили, работали, воевали, дружили, любили, враждовали, рожали и хоронили, голодали и иногда скромно пировали. Все это ушло бесследно, не переселилось даже в мир теней, и из отрывочных, случайно оставшихся в памяти картинок и слов нельзя было восстановить ткань их существования.

«...Боялись самого страшного – казенного письма с траурной каймой, похоронки», – было написано на одной из страниц, покоившихся в серой папке со шнурками. «И вот в один из зимних вечеров 1942 года (кажется, это было зимой) кто-то постучал во входную дверь. На втором

этаже деревянного дома в маленькой квартире жили три семьи, и никто никого в это время не ждал. Электрического звонка в доме не было, и для того, чтобы наверху слышали стук, надо было колотить в дверь долго и изо всех сил. Кто-нибудь из женщин (мужчины воевали) в накинутах наспех пальто и тапочках или калошах на босу ногу выходил в холодный, продуваемый ледяным ветром коридор и кричал сверху: „Кто?“ Стучал отец, отпущенный на день из госпиталя или забежавший домой по дороге в госпиталь.

Запомнилось одно: раненое плечо, глубокая красная борозда, заполненная какой-то шевелящейся серой массой, и испуганный голос мамы: „Вши? Господи, это вши...“»

На этой страничке написано и то, что все нижнее белье отца пришлось сжечь в печке, благо она в доме была и топилась тогда, когда были дрова, выдававшиеся по ордерам. Водопровода же и ванной не было, и как удалось отцу вымыться в этот поздний час в маленькой комнатухе – Генерал не запомнил, а спросить у матери в свое время не догадался.

Получалось так, что ниоткуда появился человек на белый свет и в никуда уйдет и так же – ниоткуда и в никуда – будут приходить и уходить связанные с ним будущие люди. Должно же быть совсем по-иному. Те, кто знает свое прошлое, увереннее чувствуют себя в настоящем, черпают вдохновение у тех, кто был раньше их, кто прошел многие испытания, выжил и дал им жизнь.

Эта мысль, нередко посещавшая Генерала, казалась ему бесспорной, но несколько книжной, наваянной, возможно, не столько собственным опытом, сколько чужой мудростью, чужими размышлениями. Правда, различать свое и заимствованное становилось все труднее, да в конце концов не это было важно. Будущим людям понадобится опора в прошлом, но хотелось еще и оставить на земле какую-то память о себе. Старик привык проверять людей, их дела и слова здравым смыслом, ибо в его профессии не было ни безошибочных приборов, ни хитроумных формул. Его желание проверки здравым смыслом не выдерживало. Какое тебе дело до того времени, в котором тебя уже не будет? Не будет совсем, с твоими переживаниями, опытом, знаниями, ты превратишься в тень, выцветавший отпечаток в чьей-то памяти. Не все ли тебе равно? Спорить с рассудком было бесполезно, и тем не менее Генерал продолжал писать, утомляя глаза и с трудом разгибая ноющую спину.

Давно опустел чайник, по комнате плавал прозрачный синеватый табачный дым, из-за неплотной занавески проглядывало черное окно. В неярком, косо падавшем свете лампы казалось, что стекло уже заиндевело по-зимнему.

Первоначальный замысел – писать от рождения или от предков – казался естественным, но вскоре выяснилось, что с ним не согласен мир теней. Память не соглашалась с хронологией, требовали внимания внезапно всплывавшие события и люди, приходилось откладывать наполовину исписанный лист и переходить к истории столь же бессюжетной, неопределенной, как и ее предшественница.

Генерал представлял себе разочарование будущего читателя, фигуры абстрактной, без внешности, возраста, пола, но ничего такого, что могло бы сделать повествование ярким, более интересным и поучительным, в голову пока не приходило; отступать же от правды, вводить в заблуждение воображаемого читателя было нельзя.

«Обязательно надо как-то оживить, расцветить историю. Не все было просто и объяснимо, случались ведь почти чудесные вещи, смешного, нелепого и трагичного было много. Как же все это описать, чтобы не было скучно и сухо?»

Старинный прием – говорить о себе в третьем лице. Разговор с самим собой, но не вслух, а про себя, становился привычкой, порой перерастал в жаркий спор, дело доходило до оскорблений, которыми Старик награждал самого себя, невольно выступая за обе конфликтующие стороны. Этот неслышимый никому монолог, скорее даже диалог, где обе стороны были абсолютно во всех отношениях равны, но несколько по-разному смотрели на жизнь, никогда не пре-

крашлся. Тени, правда, его слышали и иногда вмешивались со своими суждениями. Живые люди в диалоге не участвовали. Сожаления по этому поводу Генерал не испытывал.

Вообще его мир все больше делился на две удаляющиеся друг от друга, хотя и связанные области. В одной он существовал – ел, пил, сажал яблони, держал в руках карандаш, лопату, рубанок, разговаривал с соседями, ездил в город, покупал еду. В этой области был яркий и радостный уголок: дети и внуки – веселая, шумная, беспечная и бестолковая публика. Этот уголок был Старику безмерно дорог. Галдящая и смеющаяся толпа в летние выходные дни вваливалась в домик, немедленно принималась жевать, пить, играть в футбол, бегать по грядкам, искать корзинки, чтобы идти по грибы, копать грядки, петь песни, ругаться. Домик ходил ходуном; ворчала, посмеиваясь, Нина Васильевна – жена Генерала, а сам Старик с упоением бросался в общую суматоху, поднятую шайкой-лейкой, как именовалась насмешливо вся семейная молодежь. Шайку-лейку Генерал ставил на особое место, сначала неосознанно, а потом вполне сознательно отделяя ее и от прошлого, и от обыденного настоящего. Во всяком случае, он решил не пускать эту компанию в свои записки, хотя и сам едва ли смог бы объяснить почему.

Возможно, опасался, что не удастся мало-мальски похоже описать своих драгоценных родственников, а скорее, сдерживали какие-то неясные опасения. Как бы то ни было, холодными осенними вечерами и шайка-лейка, и Нина Васильевна были далеко, они не принадлежали осязаемому миру, в котором дощатые стены, низенький потолок, дождь за окном, кружка чаю, табачный дым. Они существовали особо и лишь соприкасались и с этим миром, и с миром теней, куда погружался Генерал.

В конце концов замысел записок, стратегическая линия (былой деловой жаргон, аура глубокомыслия) вырисовывалась так: излагать то, что именно сейчас вспоминается наиболее отчетливо и что может расплыться, ускользнуть из памяти. Нить жизни должна разматываться естественным образом, так, как разматывается любая нить, то есть с конца. Надо сказать, что Генерал несколько лет назад успел написать и даже издать автобиографическую книжонку под претенциозным названием «Рука судьбы». Писалась она сразу после того, как ее автор свалился с олимпийских служебных высот, был до крайности расстроен и возбужден, почему-то неимоверно спешил, будто опасаясь, что вместе с карьерой кончится и жизнь. Естественно, ему казалось, что книжонка не раскрыла и доли того, чем он жил, и не могла быть откровенной, поскольку изначально предназначалась для чужих глаз. Нет, надо писать с конца, не спешить, пытаться заглядывать внутрь событий...

Утвердившись в этой простой мысли еще раз, Генерал щелкнул зажигалкой, секунду полюбовался голубоватым язычком пламени, закурил, подвинул ближе пепельницу – потемневшее медное блюдечко с затейливой резьбой, купленное в доисторические времена на калькутском базаре, надел очки и со вздохом начал писать. Он вспоминал октябрь 1993-го.

Октябрь уж наступил...

«Покрытое легкой дымкой предзакатное небо, светящиеся янтарем листья клена и необычная глухая тишина московских улиц. И вдруг трубный журавлиный крик, первые такты печальной и светлой осенней симфонии. Надо смотреть в небо: через несколько мгновений там появится зыбкая вереница огромных и беззащитных птиц, выровняется клином, протрубит в последний раз и неспешно направится вековечным путем в благодатные южные края. „Мы вольные птицы. Пора, брат, пора...“

Пора! Но ты, брат мой, журавлик, никогда и никуда не полетишь. Последние листья желтеют на солнце за железной решеткой зоопарка, и журавлиный голос звучит тоской подрезанных могучих крыльев.

Пропела печальная переливчатая труба, оборвалась мелодия, и внезапно бухнул барабан – гулко, зловеще, бухнул еще и еще, бешеной дробью застучали барабаны поменьше. Эта музыка знакома прохожему, оказавшемуся на этой еще вчера такой знакомой и уютной улице. Бой сатанинских барабанов, горящие дома далеких азиатских городов, воющие в безутешном горе женщины и запах дыма. Уютен и ласков огонь камина, приятен смолистый аромат костра. Дым горящего дома пахнет ужасом. Ужас пришел в Москву.

Прохожие не замедляют шаг, разговаривают вполголоса, движения их сдержанны, еще мгновение – и они сольются со стенами, растворятся в асфальте, исчезнут в дверных проемах. Город давно не воевал, он даже не напуган, а ошеломлен и до предела насторожен.

Беззвучно сменяются огни светофора – яркий изумруд и кроваво-красный рубин на лило-веющем фоне вечерних легчайших облаков. Под светофорами – цепочка темно-серых, словно выточенных из какого-то древнего камня фигур, идолищ. Идолища молчаливы и неподвижны, на квадратах плеч – шары шлемов, в руках... Что же у них в руках? Неужели такие же древние, как сами фигуры, палицы? Или рогатины? Или просто автоматы?

На сцене нет ничего лишнего – серая улица, несколько ярких пятнышек, неприметные сжавшиеся прохожие и темно-серый частокол нездешних, не из нашей жизни, фигур. Вот сейчас подаст знак невидимый дирижер, цепь блеснет огоньками, раздастся сухое стаккато, истуканы придут в движение и механическим мерным шагом двинутся по улице. А где-то поблизости за спинами темно-серых фигур размеренно грохает барабан и поднимается к небу струйка черного дыма.

Каждому прохожему совершенно необходимо увидеть и горящий дом, и сатанинский барабан, и воду Москвы-реки. Это не любопытство. Это стихийное, первобытное чувство толкает мирного жителя к источнику беды, он должен увидеть его своими глазами, запечатлеть его в памяти: ведь это его город, это его народ, это его жизнь!

Неподвижная доселе цепь оживает, угрожающе шевелится, готовится принять знак дирижера. Слева – металлическая сплошная решетка и справа – металлическая сплошная решетка, и где-то за решетками укладывается спать пленное милое зверье. Людям спать еще рано.

Буумм – десятки человеческих душ черной струйкой уходят в небо, буумм – еще десяток не успел бросить прощальный взгляд на несчастную нашу родимую землю, не успел прошептать последних слов. Осколочный снаряд рассчитан на вражескую пехоту, на бой в чистом поле. Снаряд не успевает взвыть, врывается в окно, грохает в стену и рассыпается бешеным ураганом раскаленного, колючего, режущего и рвущего живое тело металла. Буууммм! Кто же спрятан в чреве стального чудовища, кто нащупывает в орудийный прицел живые души и бестрепетной рукой посылает смерть? Это русский человек. Русские вновь убивают русских, и кто-то в генеральской фуражке уже примеривает в мыслях очередную звезду. Буууммм!

Нет похоронного звона. Колокола церквей молчат, не воют над убиенными гудки и сирены, звучит только дьявольский размеренный набат – буумм! бууммм! В сердце, в совесть,

в душу, в прошлое, в будущее – из крупнокалиберной танковой пушки осколочным снарядом, сотнями смертей – буумм! Кто ты – русский человек: славный танкист, отличник боевой и политической подготовки? Кто твои мать и отец?

Тихие люди, исконные жители древнего города выскальзывают из тупика, ручейком вливаются в узенький московский переулок, идут извилистыми ходами. Инстинкт гонит их к горящему над Москвой-рекой дому – источнику беды. Они должны увидеть его своими глазами, навеки запечатлеть в памяти.

Меж старыми стенами, повалившимися некрашеными заборами, перепрыгивая осенние лужи, люди говорят громче, их тревога звучит отчетливее, „бууммм“ подгоняет их. Это не крысы, не уголовники, не голь перекатная, не Иваны, не помнящие родства. Это мирные жители первопрестольного града, его обыватели, чьим трудом, разумом, потом, кровью стояла держава. Они не испуганы – их гонит неведомо куда ощущение общей беды.

Людской ручеек через тесный проулок, даже не проулок, а больничный двор, вытекает на просторное – ни единой машины – Садовое кольцо. Только сейчас можно увидеть, как широки московские улицы, как красивы обрамляющие их дома, как трогательны упорные живучие деревца вдоль тротуаров. Под деревьями, вдоль стен – несметные тысячи сосредоточенных печальных людей. Их не отвлекают ни лозунги, ни знамена, ни ораторы, их никто не призывал на эту улицу, они не ищут ни славы, ни прибыли, ни развлечения. Просто это их город, они здесь живут, у них нет другой земли, они имеют право знать, видеть, что происходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.